Е Н МАРАСИНОВА

# И. И. ХЕМНИЦЕР — ПИСАТЕЛЬ И ДИПЛОМАТ

Хемницер достоин жить в памяти потомства
*Я К Грот*

Иван Иванович Хемницер (1745—1784) имел по-своему уникальную судьбу, и сохранившиеся благодаря Я К. Гроту материалы[1] дают возможность не только прикоснуться к внутреннему миру незаурядной личности, но и уловить в истории его жизни черты эпохи, которые не прочитываются по более типичным биографиям. Сам Я. К Грот в предисловии к опубликованным материалам писал, что Хемницер «является в них лицом замечательным <...> по необыкновенным обстоятельствам своей жизни» (34)

Родившийся на нижней Волге, немец по крови и конфессиональной принадлежности, он вырос и сформировался как личность в России Хемницер лишь дважды и то «по казенной надобности» бывал в германских землях, сначала в качестве солдата русской армии во время Семилетней войны, а затем как компаньон и помощник путешествующего начальника Он никогда не проявлял особого интереса к своей «исторической родине» и не стремился попасть туда. В семье Хемницера говорили исключительно по-немецки, однако он не только в совершенстве овладел русским языком, но немало сделал для его обогащения и тонкой передачи стилистики

[1] См *Грот Я К* Сочинения и письма Хемницера по подлинным его рукописям с биографической статьей и примечаниями СПб , 1873 В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страницы К сожалению, Я К Грот издал не все документы из доставшегося ему наследия Хемницера Многочисленные заметки, выписанные цитаты из книг, записи остались неопубликованными В настоящее время эти бумаги находятся в рукописном отделе ИРЛИ РАН (Архив Грота 15957/XCVIII, б 13) Некоторые из них вошли в современное наиболее авторитетное издание *Хемницер И И* Полное собрание стихотворений / Вступ ст Н Л Степанова, сост Л Е Бобровой, подгот текста и примеч Л Е Бобровой и В Э Вацуро М , Л , 1963 (Библиотека поэта Большая серия 2-е изд )

© Е Н Марасинова 2006

народной речи в баснях. Не получив регулярного образования, Хемницер был очень знающим человеком и с легкостью писал стихи на нескольких европейских языках. По своему происхождению он не имел никакого отношения к российскому дворянству, но между тем вошел в круг интеллектуалов екатерининского времени и стал выразителем ценностей образованной элиты. Будучи лютеранином и став генеральным консулом в мусульманской Порте, он самоотверженно отстаивал интересы России и, в том числе, храмы местного православного населения. Честный исполнительный чиновник, он в действительности всегда тяготился государственной службой и с радостью отдавался поэзии. Слывя чувствительным и застенчивым, прославился, однако, как автор басен и эпиграмм.

Внутренние и внешние события этой незаурядной судьбы отразились в самых разнообразных документах. «Хемницер достоин жить в памяти потомства уже и одними своими баснями, — писал Я. К. Грот, — но мы позволяем себе думать, что он приобретает на это еще больше права теперь, когда образ его, как человека и писателя, яснее и полнее прежнего восстановляется перед нами из подлинных его бумаг и переписки» (34). В сатирах отразилась повышенная восприимчивость Хемницера к порокам своего времени и понимание человеческих нравов. Черновики, наброски и прозаические планы поэтических произведений приоткрывают его работу над языком и композицией будущей басни. В дневнике путешествия по Европе и в журнале поездки в Смирну запечатлелась избирательность восприятия Запада и Востока выросшего в России человека. Атмосферу в семье Хемницера доносят до нас воспоминания его отца. Но наиболее емким свидетельством внутренних переживаний этого человека стали его послания Львову, написанные незадолго до смерти и вобравшие в себя весь предшествующий опыт баснописца. Внимательное прочтение последних писем Хемницера и сопоставление их с материалами других его документов дают шанс уловить сложные мотивы действий и реакций личности XVIII в.

## Российский подданный

Первое из 15 сохранившихся писем Львову от 8 июля 1782 г. написано в городе Херсоне, откуда Хемницер направлялся на место своей службы в Смирну. Следующее письмо также было отправлено из Херсона. 8 августа Хемницер пишет другу уже из Константинополя, а 10-го — из Буюк-Дере, небольшого поселения близ турецкой столицы, где имели свои особняки полномочные представители различных стран, в том числе и российский посланник Яков Иванович Булгаков. Осенью 1782 г. Львов получает письмо уже из Смирны, и в течение года Хемницер исправно, практически каждый месяц, пи-

шет другу. Затем переписка прерывается в связи с тяжелой болезнью писателя, а в марте 1784 г. Львов получает последнее послание, по всей видимости, когда Хемницера уже не было в живых.

Генеральный консул шутливо напоминал в письмах, что «приехал в Смирну удовольствовать любопытство» (78) своего заинтересованного адресата. И действительно, он подробно излагал другу обстоятельства своей службы, фиксировал реалии проводимой на Востоке политики, делился впечатлениями, которые на него производили нравы и образ жизни турецкого населения.

Хемницер получил место генерального консула в критический момент противостояния России и Порты. По заключенному в 1774 г. Кючук-Кайнарджийскому договору Россия получала крепости Керчь, Еникале и Кинбурн со степью между Бугом и Днепром; Крымское ханство объявлялось независимым от Турции, а Черное и Мраморное моря — свободными для русских торговых судов. Султан не намерен был смиряться с потерей земель и влияния, а Россия не только закрепляла победы, активно осваивала Южное Причерноморье, но и явно претендовала на подчинение Тавриды. Установившийся непрочный мир был чреват новой войной, приближение которой сдерживалось лишь известным равновесием сил двух империй. В этой ситуации ключевая роль переходила от полководцев к дипломатам. Им предстояло, не раздражая турецкие власти и не давая Порте повод для возобновления военных действий, исподволь подвести крымского хана к мысли о добровольном присоединении к России, а турецкого султана к пониманию неизбежности окончательной потери Тавриды.

И при петербургском дворе, и в Коллегии иностранных дел понимали, что полномочные представители России становились в Порте заложниками рискованной внешнеполитической игры.[2] Скрытая враждебность турецких властей усугублялась интригами европейских государств, противодействовавших усилению русских на Востоке. Хемницер видел «зависть, кипящую беспрестанно в толпе иноплеменных» (70), и порой ему казалось, что его окружают «змеи шипящие» (92).

В Порте, взбудораженной недавно законченной войной, было очень неспокойно. «Всякий день франки режут турок, а турки франков, а иногда и франки между собой режутся» (64). Константи-

---

[2] Булгакову и Хемницеру было, конечно же, прекрасно известно, как в 1768 г. великий визирь потребовал от российского посланника Обрезкова отмены всех постановлений февральского сейма в Польше по вопросу о диссидентах. Русский посланник таких гарантий дать не мог и тут же был подвергнут аресту. Тем самым России была объявлена война. Пройдет несколько лет, и в 1789 г., в момент очередного обострения отношений с Турцией, султан объявит чрезвычайного посланника России Булгакова мусафитом, т. е. гостем блистательной Порты, и заключит его в Едикуль (Семибашенный замок), где будет 12 недель содержать под строгим надзором.

нополь встретил Хемницера пожаром, бушевавшим 60 часов и уничтожившим две трети города. «Чернь» вину «возносила» на русских. «что будто они зажгли по причине Крыма или лучше сказать, чтоб занять их кроме Крыма другим» (57). Незадолго до приезда Хемницера в Смирну «рагузейцы с славянами перерезались; мщение за мщение, и, наконец, сделавшись война общею, славяне все бросились было к рагузейскому консулу в дом, которой по счастию успел спастись в доме голландского консула, где высидел он 2 недели карантину, пока все утихло» (75). Местные жители, особенно православные, с напряжением и страхом ожидали новой войны. Эта тревога накаляла обстановку и порождала мгновенно распространяющиеся слухи. Стоило вечером драгоману (переводчику) и янычарам заехать к Хемницеру по незначительному и вовсе не секретному делу, как российского консула «успели уже иные турками повесить, другие в части изрубить, и как кому рассудилось». «При всем том, однако, о чем турки и не думали, теперь в голову прийти им может», — писал Хемницер о домысле, который мог показаться мусульманам Смирны не такой уж нелепой идеей. В этих условиях пребывание в Порте требовало от генерального консула большой выдержки, твердости духа и умения «наружно играть политического актера» (84, 86). Солдат, баснописец, специалист в области минералогии, он никогда ранее не сталкивался с дипломатической службой, и в своей деятельности руководствовался не опытом, а пониманием или, скорее, интуитивным чувствованием политического интереса России. Хемницер сразу уловил, что первый глава открытого в Смирне российского консульства должен был прежде всего укреплять статус Петербурга в глазах турецких властей, местного населения и представителей европейских государств. Присущая дипломатии повышенная знаковость каждого штриха в придворный восемнадцатый век была особенно ощутима на Востоке.[3] Именно это имел в виду Хемницер, когда писал: «Турки не что иное, как фарс, да и я в их земле — фарс» (82).

Для престижа России была важна уже сама атмосфера прибытия полномочного представителя в Смирну. В «Журнале поездки» Хемницер с пристрастием отмечает, что яхта с генеральным консулом на борту отбыла из Царьграда по именному повелению, дав в честь российского полномочного посланника 7 пушечных выстрелов. В Смирне их приветствовал сначала «цесарский купеческий корабль» пятью залпами, «потом салютацию делали все прочие» (401—402). Толпы народа собрались на набережной смотреть приезд консула из Петербурга. Стремление возвысить достоинство

---

[3] Во время путешествия по Европе Хемницер также с типичным для своего времени пристрастием фиксировал чисто внешние декоративные атрибуты государственной власти смотр полков французской гвардии, открытый ужин в Версале, ритуал приветствия короля в придворной церкви и т п

представителя России заставило Хемницера отказаться от нанятых для него «по комиссии из Константинополя» гостиничных номеров. Жить в трактире «по причине той, что это трактир, а я Российского Императорского двора генеральный консул, за благо не рассудил: просто Иван Хемницер жил бы» (61). На «свои родные денежки» он арендует дом за 750 пиастров. Не случайно за несколько недель до этого Хемницер отметил в «Записной книжке», что дом и сад полномочного министра Я. И. Булгакова в Буюк-Дере «превосходят всех прочих огромностью и великолепием» (398—399).

Хемницер быстро переломил привычку турков обращаться с консулами других государств, как с «оброчными крестьянами» и принимать от них поклоны — «нет, шалуны, ошиблись». Изящно отстранил он и попытку «великого учтивца», местного судьи (кадия), задобрить консула России, которая теперь сама диктовала свои условия Турции. «Кадий сыграл ныне со мною фарс, что прислал ко мне разные его женщинами вышитые ковры в <...> подарок, хотя он и сказать велел, чтоб я это не счел в подарок, а принял бы так как работу его женщин; я все это и не принял в подарок, а как работу его женщин отправил к нему обратно с комплиментом, что я его благодарю за учтивость, что он мне показал работу своих женщин, которой я надивиться довольно не мог. Не знаю, что он подумал, а я думал, что подарок от кадия российскому консулу должен от российского консула назад к кадию возвратиться» (81, 83).

Хемницер оказался деятельным, оборотистым чиновником. Подробные письма Львову о «штатских обстоятельствах», сохранившиеся записи «комиссий и исполнений», сделанные четким убористым почерком,[4] толковые донесения в Коллегию иностранных дел и Коммерц-коллегию опровергают сложившееся о Хемницере представление как о рассеянном, плохо ориентирующемся в жизни человеке. «Книги заведены, — писал он Львову, — приезжающие и отъезжающие суда с их экипажами и манифестами вписываются без *запущения* <...> Ссоры да споры судимы и разрешаемы без волокитства» (70).[5]

Хемницер старался ничего не упустить для закрепления успеха российской политики на Востоке. Зная о темпах и масштабах освоения южных земель, он «сыскивает и уговаривает кого только можно, чтоб переселиться к нам в Россию» (71). При этом он учитывает

---

[4] Специалисты, знакомые с подлинниками рукописей Хемницера, также отмечают продуманную точность во всех его бумагах: записи всегда сделаны очень аккуратно и легко читаются, несмотря на то что содержат много поправок и написаны очень мелко. См. об этом: *Боброва Л. Е.* Сборник И. И. Хемницера «Эпиграммы и прочие надписи» // Ученые записки Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Каф. русской литературы. Л., 1958. Т. 168. Ч. 1. С. 8.

[5] Хемницер был столь же требователен и к своим подчиненным, особенно к переводчикам с турецкого языка, и тщательно подыскивал себе добросовестного знающего драгомана.

тактику Екатерины II в отношении запорожских казаков[6] и отказывается выслать их как беглых крестьян в русские земли — «гнездо» их неподалеку от Константинополя «трогать рассудил не за полезно: это дело особое» (71). Способствуя расширению торгового присутствия русских на Черном море, Хемницер тщательно собирает для Коммерц-коллегии сведения о ценах на все ввозимые и вывозимые товары, заставляет турок вернуть несправедливо взятую с греческого купца пошлину, собирается растолковать грекам, как «завести с Москвою торговлю». Он резко пресек слухи о нападении пиратов на русские торговые суда, которые распространяли французы, надеясь на бегство людей «с наших судов <...> и по причине пресильной зависти, что наши корабли разъезжать стали» (75).

Дипломатия России в Порте предполагала повышенное внимание к каждой детали во взаимоотношениях двух государств, делящих сферы влияния. Поэтому генеральный консул в Смирне, ревностно контролирующий соблюдение Кючук-Кайнарджийского договора, доводит дело о повешенном за убийство русском матросе до разбирательства в Константинополе. Российского подданного можно было «по капитуляциям» судить только в присутствии русских драгоманов в столице. В конце концов Хемницеру стало известно, что губернатор Смирны едва не поплатился жизнью за казненного матроса. «Если это будет, что ему либо голову отрубят или его задавят, то хоть верхом на здешних турок садись» (81), — писал он Львову.

Пристальное внимание дипломата усиливалось у Хемницера склонностью баснописца к наблюдению за человеческими нравами. Он тонко улавливал изменения в настроениях турецких властей и местных жителей и видел в них явные симптомы укрепления позиций России. «Турки мои с часу на час глаже становятся <...> Теперь мой кади говорит: читайте указы от Порты присланные о русских, и сердце у вас выскочит». Еще до заключения 10 июля 1783 г. нового коммерческого трактата с Турцией русская торговля начала происходить «почти безданно, беспошлинно <...> наши, боясь только Бога да стыдясь совести, пошлину платят, и то только разве десятую часть. Только и твердят что *Москов*, то есть русских, трогать не надобно». Достаточно было одного инцидента с русским моряком, от которого подвыпивший прохожий добивался ответа о национальности, чтобы кадий, немедленно удовлетворив требование генерального консула, по всей Смирне расставил янычарские пикеты. «Таким образом имя российское защитою служит теперь и прочим» (81—82).

Хемницеру выпала возможность реально почувствовать возрастающий политический вес Петербурга и осознать свою непосредст-

---

[6] Военная помощь запорожских казаков царскому правительству в борьбе с турками и татарами заставляла считаться с Сечью даже некоторое время после заключения Кючук-Кайнарджийского договора.

венную причастность к ошеломившим Европу дипломатическим и военным успехам расширяющейся империи. Сам факт приезда российского консула в Смирну «всю тревогу здешнего народа о предстоящей по мнению их войне в ничто обратил». «Прочие консулы <...> под моею подпорою жить здесь ныне думают надежнее. Какова Россия?» (63).

Как сатирик, Хемницер мог и не одобрять агрессию правителей, претендующих на расширение территории своих держав.

Пусть это дом, —
А сколько государств, которые упали,
Когда безмерное пространство получали?
И я бы на совет такой
Весьма охотно согласился:
Что лучше дом иметь исправный небольшой,
А нежели дворец, который развалился.[7]

Он мог осудить несущие смерть и запустение войны и предпринимаемое после кровавых побед восполнение людских ресурсов за счет переселенцев. В планах басен есть образ льва, который «вознамерился» свой безлюдный околоток заселить соседями, обещая им привилегии. Стал он «богатее животным народом. Что ж? рассудись ему войну начать. Сраженье за другим через короткое время опустошило всю его область, и стало безлюднее прежнего. Теперь хотел бы я спросить: к чему же землю он старался населить?» (288—289). Между тем практика повседневной жизни диктовала Хемницеру другие чувства.

В дневнике, где по сложившейся привычке он исключительно для себя фиксировал внезапно возникшую мысль или поразившее его впечатление, а также в частных письмах Львову, едкая сатира уступает место искреннему восхищению нарастающей экспансией Екатерины II. На уровне обыденного сознания в этом отношении Хемницер мыслил общепринятыми категориями русского XVIII в.

Проезжая через земли осваиваемого Причерноморья, он обращает внимание на возникающие в степи города, новые военные и торговые корабли «на штапеле» (48), возводимые крепости, иначе говоря, конкретные элементы так называемой организации межимперского пространства,[8] через которые проходили невидимые нити напряжения между соперничающими державами. «Ну, братец, Херсон, подлинно чудо. Представить нельзя, чтоб в три года столько сделать можно было. Представь себе совершенную степь,

---

[7] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 122.

[8] См. об этом, например: *Лурье С. В.* Российская империя как этнокультурный феномен и ее геополитические доминанты. (Восточный вопрос, XIX век) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 1993. Ч. 1. С. 148—154.

где ни прутика, не только дому сыскать можно было. Теперь крепость, и крепость важная такая, например, какие из лучших мы в Нидерландах видели» (48), — пишет Хемницер Львову 8 июля 1782 г. из Херсона. И примерно такую же, может чуть менее эмоциональную и более информативную, запись делает в дневнике: «Город сей, который заложен 1778 г. в октябре, нашел я уже в большом успехе, хотя он третий только год как заложен <...> на степи бывшей Запорожской Сечи <...> но город Херсон успехами своими, как крепостью, так и строением в самой крепости <...> заставляет о степи этой забыть» (396—397).

Победа имперского оружия или успех петербургской дипломатии должны, по мнению Хемницера, производить радость и восхищение в «русской душе» (91). Он абсолютно уверен в праве и возможности России «плавать да плавать из Черного моря в Средиземное, а из Средиземного в Черное» (75). Заложенная еще Петром и достигшая своего апогея при Екатерине II[9] идея великодержавности и пользы Российской империи владела и сознанием Хемницера. Вспышки праздничных фейерверков бросали свой отблеск на жизнь каждого подданного. Возвышающее чувство причастности к успехам огромной победоносной страны усиливалось на чужбине, в ситуации, когда отстаивание интересов России являлось главным смыслом службы, а статус российского консула — главной защитой от враждебного окружения. Пожалуй, государственное мышление, определяющее многие ценностные реакции Хемницера, можно считать основным наследством, полученным им от своего российского подданства.[10]

Поражает, на первый взгляд, что консул, находящийся практически во враждебной стране, отношения с которой балансировали на грани новой войны, не испытывает никакой личной неприязни к местным жителям и называет их почти ласково «мои турки». Он отмечает, что «гостеприимство у турок из числа первых добродетелей», и в письме, отправленном сразу же по прибытию в Смирну, отзывается с искренней теплотой о приставленных к нему янычарах. «Янычары мои, бесполитичные души, меня очень полюбили.

---

[9] Хемницера поразила точность слов одного турка о величественной осанке Екатерины II при решении дел международной политики: «„Да Она дарит все что хочет“. Я и вспомнил словеса: рече и быст. Нутка господа академики (то есть не наши), скажите что-нибудь похожее» (Письмо И. И. Хемницера Н. А. Львову. 22 июля, 1783 г. Смирна. С. 88).

[10] По своим ценностным ориентациям и предпочтениям Хемницер не был иностранцем на русской службе, подобно многочисленным в то время европейцам, занимавшим места на всех уровнях чиновного аппарата. В высочайших пожалованиях этим волонтерам ничего не говорилось о ревностно выполненном долге перед отечеством и государыней. Так, награждая принца Карла фон Вюртемберга орденом Святого апостола Андрея Первозванного за участие в русско-турецкой войне, Екатерина писала только об «усердии, доброй воле и храбрости». (Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Bestand G 263. Bueschel 1).

Я им сделал софу, говорю с ними, и эти добрые люди мне всякого блага (это их слова) желают. Сколько я турков в короткое время узнать мог, то нахожу, что этот народ, по крайней мере, что сказал, то и сделал» (56).

Отсутствие ненависти и агрессии к туркам было связано не с природным добродушием Хемницера, а объяснялось в значительной степени спецификой идеологического обоснования русско-турецких войн и в целом стратегии внешней политики Екатерины. В многочисленных рескриптах, или, иначе говоря, «мудрых повелениях»,[11] императрицы полномочному министру России в Константинополе и его подчиненным прямо была сформулирована высшая цель всех предпринимаемых усилий: «величие и польза Империи нашей».[12] Показательно, что эта главная государственная ценность легко заменялась рядом синонимов — «слава России» или «достоинство Престола Нашего», которые предполагали в конкретном контексте отношений с Константинополем «новые и многие выгоды для торговли»,[13] «приведение дел наших с Портою в решительное положение»[14] и «умножение инфлюенции в Европе».[15] От Я. И. Булгакова и других представителей Петербургского двора в этой ситуации ожидалась «твердость, достоинству министра нашего сходственная».[16] В указах, реляциях, донесениях и других документах, обслуживающих каждодневную политическую практику, а также в частной переписке, дневниках и даже мемуарах современников, то есть в источниках, отражающих прежде всего обыденное сознание, оценки жесткого противостояния России и Порты лишены любых религиозно-исторических ассоциаций. Наказание неверных, освобождение православных из-под мусульманского ига, борьба за святыни завоеванной Византии и т. п. в действительности очень мало значили для полководцев и дипломатов. Они были вдохновлены «позитивной стратегией» расширяющейся империи и хорошо усвоили только одно — ничто «не может убедить нас уступить единый шаг из того, к чему мы право имеем»[17] или, говоря словами Хемницера, — «пока моря да корабли будут, ездить станем» (76).

---

[11] См.: письмо Я. И. Булгакова А. А. Безбородко. 13 июля, 1781 г. Херсон // Сборник русского исторического общества. 1885. Т. 47. С. 2.

[12] См., например: рескрипт императрицы Екатерины II Я. И. Булгакову. 3 октября, 1783 г. Петербург // Там же. С. 91.

[13] См., например: донесение Я. И. Булгакова императрице Екатерине II. 1 (12) ноября, 1781 г. // Там же. С. 6.

[14] См.: рескрипт императрицы Екатерины II Я. И. Булгакову. 3 октября, 1783 г. Петербург // Там же. С. 90.

[15] См., например: донесение Я. И. Булгакова императрице Екатерине II. 1 (12) ноября, 1781 г. // Там же. С. 6.

[16] Указ нашему статскому советнику, чрезвычайному посланнику и полномочному министру Булгакову. 3 июля, 1782 г. Петергоф // Там же. С. 33.

[17] См.: рескрипт императрицы Екатерины II Я. И. Булгакову. 5 марта, 1782 г. Петербург // Там же. С. 20.

Для человека средневековой московской Руси Царьград (Константинополь) был столицей Византии, от которой он воспринял свою веру. Падение второго Рима под натиском иноверцев наделяло особой харизматической ролью третий Рим, Москву, и превращало русскую землю в единственное прибежище истинного православия. Мусульманский Константинополь стоял на пути русских праведников в Святую землю, которую они воспринимали сквозь призму событий Ветхого и Нового Заветов.[18] С другой стороны, история вассала Порты, Крымского ханства, от набегов которого веками страдали южные земли, уходила корнями в катастрофу монголо-татарского нашествия на Русь. Казалось бы, идеология борьбы с Турцией должна была апеллировать к сакральному сознанию русского человека и его исторической памяти. Однако блистательные успехи российской восточной дипломатии и две победоносные русско-турецкие войны последней трети XVIII в. свершились под лозунгами «ревностной службы императрице и Отечеству» и «славы российского престола». Выстраданный веками сокрушительный удар по Порте был нанесен людьми екатерининского царствования, которые особенно не задумывались над концепциями третьего Рима и истинного православия. И в этом заключался еще один парадокс русской истории.

Разумеется, в текстах с яркой идеологической направленностью — высочайших манифестах, указах о награждениях, парадных одах, нотах европейским державам, торжественных богослужениях — отчетливо выражена мысль о высокой миссии России, духовной преемницы Византии в борьбе с «общим ненавистником имени христианского — оттоманским правительством». Этими же идеями было проникнуто и воззвание императрицы к балканским и «славянским народам православного вероисповедания, в турецком подданстве находящихся», а также знаменитый «греческий проект» Екатерины, предполагавший воссоздание под эгидой православной России греческой империи.[19] Трон этой будущей державы, призванной противостоять мусульманскому миру, она предназначала родившемуся в период особенно жесткой конфронтации с Турцией внуку, которому дала знаковое имя Константин.

Высочайше заявленная символика была растиражирована в литературе того времени. В 1786 г. выходит «Описание Архипелага и варварийского берега» с посвящением великому князю Константину Павловичу: «Константин основал престол в Царьграде и посвя-

---

[18] См. об этом подробней, например: *Данциг Б. М.* Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973; Иерусалим в русской культуре. М., 1994, и др.

[19] См.: *Елисеева О. И.* Геополитические проекты Г. А. Потемкина. М., 2000. С. 11—138; *Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII—первой трети XIX века. М., 2001. С. 31—64.

тил Восточную империю. Константин потерял град и владычество. Константину предписано в книге судеб восстановить сие царство»[20]

Представление о сбывающемся пророчестве, обещавшем присутствие русских в «граде Константина», Константинополе, нашло отражение в оде Г. Р Державина «На взятие Измаила»:

Иль россов идет дух военный,
Христовой верой провожденный,
Ахеян спасть, агарян стерть?
Я слышу, громы ударяют,
Пророки, камни возглашают
То будет ныне или впредь!

В «Объяснениях Державина к своим сочинениям» разъяснено· «В Византии находятся камни с надписями < > которые пророчествуют о взятии северными народами Константинополя, мистики находят о том пророчество в самом Священном писании».[21]

Между тем в идеологической стратегии Екатерины доминировало не сакральное мышление, а прагматичное использование религиозных символов в политических целях Если речь шла о поддержке греческой церкви или покровительстве православным подданным Оттоманской империи, то прекрасно работала мессианская роль Московии Если же политическая целесообразность требовала защиты независимости Крымского ханства от Порты, о которой было объявлено в документах Кючук-Кайнарджийского договора[22] или присяге на верность российскому престолу мусульманского населения присоединенных территорий, то здесь включалась совершенно иная аргументация «Вы можете внушить министерству оттоманскому в рассуждении единоверных им ныне под державу нашу присоединенных, — прямо заявлялось в рескриптах Булгакову, — мы желаем, чтоб подвластные скипетру нашему обязаны были их благоденствием единственно нашему об них промыслу < > а отнюдь не посторонним заступлениям и ручательствам»[23]

---

[20] См об этом подробнее *Смилянская И М* Восточное Средиземноморье в восприятии россиян и в российской политике (вторая половина XVIII в ) // Восток 1995 № 5 С 68—81

[21] *Державин Г Р* Стихотворения / Вступ ст , подгот текста и общая ред Д Д Благого, примеч В А Западова Л , 1957 С 163, 395—396 (Библиотека поэта Большая серия 2-е изд ) См об этом также *Смилянская И М* Восточное Средиземноморье в восприятии россиян С 72

[22] «Поведение шаха Шагин-Гирея в рассуждении < > блистательной Порты было основано на < > независимости державы его, что никто не может доказать ему поступков, противных вере его», — писала Екатерина Булгакову (Указ нашему статскому советнику, чрезвычайному посланнику и полномочному министру Булгакову 3 июля, 1782 г Петергоф С 34)

[23] Рескрипт императрицы Екатерины II Я И Булгакову 3 октября, 1783 г Петербург С 91

Иначе говоря, в сфере политики первичным являлось главенство имперского начала и в духовных делах, а не вопрос о пагубной магометанской вере «басурман». Для блага «нашего престола» Екатерина могла учитывать многоконфессиональность «вверенного» ей государства, провозглашать религиозную терпимость, использовать во время высочайшего посещения Казани специально выученные фразы на арабском и татарском языках, предоставить российским мусульманам право беспрепятственно возводить мечети[24] и т. п.

Таким образом, религиозно-православная стилистика официальных посланий Петербурга европейским дворам и метафоры торжественных од, в которых «славный росс» «темиров попирал ногою» («Ода на взятие Измаила»), не были приложимы ни к реалиям политики, ни к спонтанно возникающим ассоциациям в практике повседневной жизни. Хемницер и Львов не касаются в переписке темы провидения, приведшего русских на берега Босфора. Зато адресат генерального консула требует уже в первый день вступления его на турецкую землю «послать сведения о здешнем месте, торговле и проч.» (76). Подробные «отчеты» Хемницера другу, а также «Журнал поездки в Смирну» отразили специфику восприятия человеком екатерининского царствования Порты и Восточного Средиземноморья.

Из Буюк-Дере, где Хемницер, дожидаясь яхты в Смирну, проживал в доме российского министра, как-то поздним вечером он отправляется в Константинополь на лодке, чтобы видеть столицу Турции во время мусульманского праздника рамазан. Его сопровождают итальянский ювелир Виченчи, свободно овладевший языком за 18 лет проживания в Порте, и секретарь российского посольства Иван Иванович Северин, с которым Хемницер уже успел сдружиться. Еще на подъезде к городу они увидели яркие огни, отражающиеся в воде канала. По случаю рамазана Константинополь был освещен расставленными по периметру мечетей многочисленными плошками с горящим маслом. Однако для петербургского жителя, привыкшего к ослепительным фейерверкам и салютам, эта иллюминация выглядела бледновато, хотя «вид» и был «изрядный». Спустившись на берег ночного города, Хемницер отправился в кафе, «чтоб странствуя попросту, без затей, ничего не пропустить». Все кофейни были забиты людьми, которым по мусульманскому обычаю в рамазан не разрешается пить и есть от восхода до заката. «Подали нам трубки и по чашке кофею», традиционно без молока и сахара. Остаток ночи они с Севериным провели в доме у ювелира, а с утра отправились бродить по городу (53—54).

---

[24] См. об этом, например: письма Екатерины Вольтеру в: Сборник русского исторического общества. 1872. Т. 10. С. 347, 353; 1874. Т. 13. С. 60, 146, 263, и др.

«Церковь Софейская», которую Хемницер стремился прежде всего увидеть, показалась ему «сокровищем архитектурным». Несмотря на то что вход в храм был платный, присутствие там строго лимитировалось турецкими сторожами. «Не дают хорошенько насмотреться, а так и погоняют: вон, да вон <...> Согрешил я тут против турок: пожелал весьма искренно, чтоб их самих можно было из этой церквы когда-нибудь вытурить». Три магометанские мечети, «не малой огромности», также произвели на Хемницера впечатление своим величием. Кроме того, он осматривает арсенал, правда, только снаружи, где хранится «Магометово знамя», и посещает большую залу «дивана везирского», в которую приходят челобитчики, и «все департаменты собраны воедино». «Место это можно с нашим сенатом сравнить» (54—55), — замечает он. Привлекла внимание Хемницера богато украшенная шлюпка его султанского величества и адмиралтейство с разбросанными бревнами и пушками без лафетов.

Константинополь снабжался водой, поступающей в город по водопроводам, построенным еще при императоре Юстиниане. «Водоводы сии существованием своим, почти невероятным, одолжены римскому имени, ибо их с тех пор почти не починивали. Вода, по верху их текущая и капающая по стенам, и между камней по сводам просачивающаяся, составила во многих местах целые глыбы stalactita или капельника, коего я глыбу с собою взял» (401), — отмечает Хемницер в дневнике. Улицы и базары турецкой столицы вызвали у него гнетущее чувство. Торговые ряды темны и узки, на грязных улицах (самая широкая — 6 шагов, а самая узкая — 2) всюду валяется падаль, а на заборах собираются сотнями кошки, которых кормят потрохами. В городе множество кладбищ, являющихся для турок излюбленным местом гуляния. «Да полно, что кому по сердцу и по душе» (55—56), — тут же усмехается Хемницер.

По русской традиции, он называет Константинополь Царьградом. Однако в дневнике записывает: «Мне кажется, что российским словом Царьград все сказано, что только сказать о таком месте можно: но, по нынешнему строению и образу жизни людей, можно справедливее сказать Царь-место» (400). Он приводит Львову курьезный случай с английским путешественником, который, «не сходя с корабля своего проехал канал до самого устья его черноморского, поворотил и проехал Царьград вторично, и совсем опять в Белое море убрался; а в Царьград ни ногой, чтобы после большого прекрасного зрелища не увидеть низкое и гнусное игрище» (56—57). Босфор и Дарданеллы потрясли воображение Хемницера.

«Канал Цареградской! что это за вид! ...описать не можно: а надобно его чудо видеть» (52), — сообщает он Львову. Однако в дневнике баснописец сумел колоритно, емко, почти с операторской выразительностью дать картину «величественного вида» пролива, соединяющего Черное море с Мраморным и Мраморное со Сре-

диземным: «Подъезжая морем верст за сто начинают уже показываться страшные те возвышения и горы, с обеих сторон его вмещающие <...> При каждом повороте канала сцена вообще переменяется и все величественнее становится. Горы, из-за гор видимые, больше и меньше ясны за воздухом, по мере большей или меньшей отдаленности кажутся беспрерывно продолжающимися. Кажется, что природа в рассуждении величественного и разнообразием поражающего вида все свои силы истощила на сие место. Сады, по чрезвычайной величине кедровых, а особливо кипарисных дерев и даже лавровых, кажется, существованием своим напоминают о первоначальных временах мироздания» (399).

Хемницер смотрит на Порту, ее столицу и народ глазами человека своего времени и своей среды — образованного российского дворянина эпохи Просвещения. Без всякой конфессиональной враждебности и даже без особого гонора европейца воспринимает он нравы, образ жизни и традиции магометан. Его избирательный взгляд останавливается на государственных учреждениях и главных культовых зданиях, причем как христианских святынях, так и мусульманских мечетях. Малоазийское побережье, восхитившее Хемницера своей яркой природой, актуализирует его представления не столько о былом величии православной Византии, сколько об античном прошлом этих земель: «...когда дошли до берега славной Трои <...> не без движения я остался» (402). Такой ракурс восприятия ни в коей мере не связан с лютеранским вероисповеданием Хемницера, а напротив, объясняется его принадлежностью к культурному пространству русского XVIII в., которое структурировалось вокруг античных образов. Взметнувшиеся обелиски, грянувшие оды и гимны, специально отчеканенные монеты, вспыхнувшие фейерверки в честь торжества победы над Портой, также воспроизводили стилистику Древней Греции и Рима. Завоеванный Крым должен был превратиться по воле екатерининских придворных в новое Понтийское царство с Севастополем вместо Ахтияра, Симферополем вместо Ахт-Мечети и Феодосией вместо Кафы.[25]

Собственно, и назначение немца, лютеранина, сына штаб-лекаря из Фрайбурга на должность российского консула в Порте свидетельствовало об устойчивости имперского сознания, в котором растворились религиозные, национальные и даже сословные интересы. Ни чиновники Иностранной коллегии, ни Хемницер не задумывались над парадоксальностью этой ситуации. Представитель Петербурга в Смирне «с основательностью берется» не только отстоять права греков на ремонт православного храма, но и добиться строительства нового для прибывающих российских подданных. Поскольку «цер-

---

[25] См. об этом также: *Смилянская И. М.* Восточное Средиземноморье в восприятии россиян. С. 76—79; *Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла... С. 31—64, 95—122.

ковь каждая из прочих в Смирне находящихся наций европейских имеет», помимо того, что «двор наш по трактату Карнарджийскому и без упомянутого повода прямо требовать может» (66)

Сам же Хемницер, по всей видимости, не посещал протестантские службы и не испытывал в этом большой потребности Он был далек от фанатичной бездумной приверженности обряду, которую высмеял в истории, сочиненной по пословице — «дурака заставь Богу молиться, он и лоб разобьет» дурак во время поста ждал буквального прихода Царства Небесного и, увидев однажды отражение неба в колодце, бросился туда, и «там еще и теперь» [26] Церковь, требующая от человека жесткого подчинения ритуалу и насаждающая благонравие, оказалась повинной в инквизиции «Полно католики один из догматов веры, то есть чистилище, и в том наблюдают, что сочинения жгут» [27] Цельный неделимый образ Создателя был раздроблен церковниками на конфессии, верования, секты «Боже единый! Боже всемогущий! долго ли еще человечеству быть ослепляему лжеучением религий, в столь разных видах ему представляемых! Да проповедуют только тебя единого все племена и языцы в равном понятии и да не делают зла друг другу» [28]

Антиклерикальные взгляды Хемницера, весьма характерные для мыслящего человека его времени, отразились и в литературных пристрастиях Как все представители российской интеллектуальной среды, он хорошо знал произведения многих просветителей, и прежде всего Вольтера и Руссо Автора «Орлеанской девственницы», которую, кстати, пытался переводить, он почитал прежде всего за дар сочинителя [29]

Все говорят «Волтер божественно писал»
Я этого не примечаю,
А только знаю
Волтер божественно перу повелевал [30]

Однако наиболее близка эмоциональному настрою Хемницера оказалась утонченная духовность Руссо, который был интересен ему и как личность «Тот, кто сможет читать Руссо, не почувствовав силу и истинность его чувств, без сомнения, сам ими не обладает» [31] Вспоминая их совместное путешествие по Европе, Львов писал «Живу-

---

[26] *Хемницер И И* Полное собрание стихотворений С 289—290

[27] Там же С 289

[28] Цит по *Вацуро В Э* К вопросу о философских взглядах Хемницера // Русская литература XVIII века Эпоха классицизма М , Л , 1964 С 136 (XVIII век Сб 6)

[29] В то же время Хемницер с иронией отзывался о тенденциозности, которую проявил Вольтер во время работы над заказанной ему русским двором «Историей государства Российского в царствование Петра Великого»

[30] *Хемницер И И* Полное собрание стихотворений С 220

[31] Перевод В Э Вацуро См *Вацуро В Э* К вопросу о философских взглядах Хемницера С 142

чи в Париже целую неделю ходил он каждое утро стеречь, когда Жан-Жак выйдет из дому своего, и, увидев его один раз, мне уже покою не было, что я, живучи с ним в одной комнате, не видал Жан-Жака» (41—42). В записной книжке Хемницера сохранился реестр книгам, которые он давал друзьям для чтения. В библиотеке баснописца, в частности, значились «Система природы» Гольбаха, изданный в начале XVIII в. атеистический «Трактат о трех обманщиках» анонимного автора, сочинения Делиля де Саля, за дерзкое содержание которых он был приговорен к жестоким наказаниям.[32]

Пережив охлаждение к официальной церкви, Хемницер не воспринял, однако, ни мистики масонов, захватившей некоторых его современников,[33] ни атеистических идей «умов великих», которые

...весь свет случайным быть считают
Со всем порядком тем, который в нем встречают,
И лучше в нем судьбе слепой подвластны быть,
Чем Бога признавать, решились.[34]

В современном понимании он был верующим человеком, чуждым «дерзкого сомнения в противность творцу» и убежденным в духовной первооснове мироздания.[35] Он размышлял о сущности «Предвечного», о судьбе, о смерти, не случайно отдав дань жанру эпитафии. Разумеется, личность этого глубокого, тонко чувствующего человека не исчерпывалась лишь государственной службой. Он находился в сложных противоречивых отношениях и с официальной сферой, и вообще с окружающей действительностью, и порой с самим собой.

## «Хлеб мой насущный маленькими ломтями резан, да была бы только душа сытее»

Родившись в Енотаевской крепости, затерянной на далеких южных окраинах России, в 13 лет оказавшись солдатом в действующей армии, имея перед собой пример отца, который от штаб-лекаря

---

[32] См.: *Вацуро В. Э.* К вопросу о философских взглядах Хемницера. С. 131.

[33] Профессиональные занятия минералогией, познания в естественных науках и явная склонность к рационалистическому мышлению заставили Хемницера скептически отнестись к предпринимаемым в XVIII столетии поискам «философского камня». Не случайно в научных переводах он приводит результаты опытов, проведенных близко знакомым ему сослуживцем по Горному институту А. М. Карамышевым, хорошо известным своими резкими, порой эпатажными материалистическими взглядами. См. басню «Лжец» и примечания к ней: *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 70—71, 307.

[34] Там же. С. 155. (Басня «Муха и Паук»).

[35] См.: *Вацуро В. Э.* К вопросу о философских взглядах Хемницера. С. 134—135.

дослужился до надзирателя Петербургского сухопутного госпиталя, но всегда был беден, Хемницер не мог не усвоить жизненной философии разночинца.

В умеренности все блаженство состоит;
А кто ее не знает,
Мечты, не счастья, тот желает.
(291)

Он был лишен гонора потомков древних боярских родов, не стремился к безудержной роскоши и ее блистательным демонстрациям, столь типичным для русского поместного дворянства, совершенно очевидно, что не мечтал он и о «случае» женского царствования. Хемницер довольно спокойно воспринимал свою скромную, медленно продвигающуюся карьеру, а вернее, «службишку» (92), и не отождествлял состоятельность личности, в том числе и собственной, с чином.

Чины для дураков лишь только введены,
Достоинства ж от них не будут усугублены.[36]

Он довольно рано обнаружил в себе тягу к уединению, способность погрузиться в занятия наукой и обостренную, едкую восприимчивость к человеческим слабостям и несправедливости мира, присущую сатирикам.

Я полагал было себя определить,
Чтоб сходно с склонностью моею век прожить:
В науках, например, приятных упражняться
И светских всех сует как можно удаляться,
То с равнодушием об оных размышлять,
А иногда пером их тайно осмеять.[37]

Сходный идеал тихой пасторали и вольного поэтизирования был достаточно распространен в среде дворянских интеллектуалов.[38] Хемницер пришел к нему довольно легко в силу своего происхождения, воспитавшей его семейной атмосферы и той особой внутренней сосредоточенности, которая либо дается человеку, либо нет. Многие же его современники разочаровывались в «суетах светских» и формулировали для себя новые ориентиры через горечь поражения в борьбе придворных партий, усталость от интриг, бессильное презрение затухающего рода к временщикам, ловко расхватывающим у престола чины и деревни. Немецкий баснописец на

---

[36] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 235.

[37] Там же. С. 179.

[38] См. об этом подробнее: *Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII в. (По материалам переписки). М., 1999.

русской службе счастливо избежал тяжелейшего кризиса переоценки ценностей. Однако он столкнулся с другой губительной проблемой — неизбежностью выбора между материальной необходимостью небогатого человека служить и настойчивой потребностью писать. «Вот каково служить: я, например, расположен писать что-нибудь, а вдруг встревоженный мой дух как будто на ухо мне скажет: „Нет, не до письма теперь: ты вот там-то и там-то давно на поклоне не был; ступай со двора туда …“» (351—352).

Выход был найден Львовым:

Да Львов мне не дал жить, как жить бы мне желалось
(Отчасти он и прав, мне после показалось).
«Послушай, — он сказал, — совета моего:
Без денег ум не ум и знанье ничего,
А от наук одних ты не разбогатеешь
И потеряешь то еще, что ты имеешь.
Стихам себя хотя утешно посвятить,
Да бойся по миру ты от стихов ходить.
Нет, сделай наперед себе ты состоянье».[39]

Перед отъездом в Смирну Хемницер запишет: «Я уезжаю, любезный друг, для занятия поста, который, говорят, даст мне возможность составить себе значительное состояние, впрочем совершенно честным и позволительным образом. Не имея состояния, я должен позаботиться, чем жить впоследствии» (352—353). Он действительно серьезно воспринял настояния друга и сам советовал В. В. Капнисту, который также в стихосложении «все блаженство находил», «жить в столичном городе, а не в деревне и <…> наперед поставить себя на способную и твердую ногу» (86—87).

«Чтоб не таскаться по миру», он прошел через утомительное «выхаживание» «места и службы»,[40] во всем полагаясь на советы Львова, лучше разбирающегося в хитросплетениях чиновной иерархии. Очевидно, что должность генерального консула, как впрочем и звание переводчика Берг-коллегии, стоило Хемницеру немалых усилий. «Разных родов должности и перевороты во время течения сих лет случались!» (88). Уже из Порты он сообщал другу о многочисленных услугах, оказанных полномочному министру Булгакову для приобретения «его благосклонности». «Я все делал, что мог <…> даже не пропуская ничего: в Твери сыскал я дом сестры его и зятя, был у них, привез ему от них письма; в Москве был у отца его и от него также привез письма и посылки» (59). Заручившись рекомендательными письмами А. А. Безбородко и П. В. Бакунина, Хемницер всячески поддерживает столь необходимые связи с крупными сановниками, постоянно направляет им послания и преподносит

[39] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 179.
[40] Там же. С. 104.

так называемые подарки, например «по боченку красного вина и Смирнского мускату каждому» (61). В книжке «Комиссии и исполнения» он записывает: «Для двора прислать также семена разные. Собрать в Смирне разное — анатольское дерево, лавры, мраморы, кораллы, из коих не худо и ко двору посылать» (395). Хемницер то и дело справляется у Львова, имеющего доступ к Безбородко, о реакциях на его донесения и приходит в восторг от благосклонных отзывов. «Боже мой, как меня порадовало, что они обо мне вспоминают таким тоном <...> Дай и впредь угодить <...> Начав служить с 1757 года, впервые службу исправил в 1783 году!» (59, 76, 88).

Хемницер благодарит Львова за советы, беспокойно ожидает новых сведений об отношении к своим реляциям, отчитывается перед другом в настоятельных попытках добиться расположения вельмож, идет на обременительные для жалования подношения. И все это он делает с каким-то чувством опустошающей усталости, которую плохо удается скрыть в письмах и от Львова, и от себя. Хемницеру была тяжела противоестественная его натуре роль искателя мест. Он искренне удивляется, когда удается написать дельное письмо «только по внушению чувств» (49). Внутреннее напряжение он пытался снять через едкие басни и хлесткие сатиры. Может быть именно унижению, испытанному в приемных «больших бояр», обязаны мы лучшими строками Хемницера.

«Ступай, ступай, скоряй!» — повсюду слышен звук,
И топот лошадей, и лишь каретный стук.
Вся сила конская в пары уж исчезает
И город облаком, как мраком покрывает.
И все на тот конец, поклон, чтоб развести,
Как будто чтоб себя чем от беды спасти.[41]

Хемницер не был циничен, когда одним пером строчил прошения и обличительные стихи. В его сатирах больше горечи собственного опыта, чем язвительности стороннего наблюдателя:

Уж для меня и то уж скукой мнится быть,
Чтобы по городу поклоны разносить
И, выпуча глаза, пешком или в карете,
Поклоны развозить к боярам на рассвете,
И время в суете столь гнусной провожать,
И беспокоиться, досадовать, скучать.[42]

Браня «беспутства и дурости» («Сатира на прибыткожаждущих стихотворцев»), он не столько упражнялся в остроумии или пытался бороться с пороками, сколько снимал накипь с собственной души. Не случайно, выпустив довольно слабые в поэтическом отношении

[41] Там же. С. 174. («Сатира на поклоны»).

[42] Там же. С. 165—166. («Сатира на худое состояние службы и что даже места раздаваемы бывают во удовольствие лихоимства»).

оды, он только после длительных уговоров друзей, и то анонимно, издал свои басни, которые были написаны прежде всего по внутренней потребности и не были рассчитаны на быструю публикацию. Автобиографичные сатиры Хемницера, воспроизводящие пережитые им ситуации, приоткрывают сложную логику взаимосвязи реальности и литературы. В сатире же особенно очевиден зазор между строкой писателя и его повседневностью.

И взятки кто берет подьячего важняе?
Тут с осторожностью ты должен поступить
И думать чем и как пристойней подарить,
В руках которого твой иск тогда случится,
Чтобы за что-нибудь не мог он прогневиться,
Чтоб за обиду он не мог себе почесть,
Что хочешь взятков ты каких ему поднесть,
Которых гнусностью правленье почитает,
И сам он в виде их как взяток не примает
И для того дай вид подарку своему,
Что будто ты даришь из дружбы то ему.[43]

Он не мог изменить социально заданных обстоятельств своей судьбы, как не мог преодолеть высмеянные им отношения в чиновной среде. В его власти было лишь в стихах и мечтах прекратить «доискивания» и бросить «идолослуженье»:

Нет, друг мой, мочи нет, я город оставляю
И все намеренье свое переменяю
Чтоб место где-нибудь служить себе сыскать,
Уж скучно стало мне здесь больше хлопотать.

Нет, благодарен я советам всем твоим
Не выманишь меня в неволю ты из воли.
И не хочу своей переменить я доли
Блаженнейшая жизнь в свободе состоит . [44]

Написав эти строки и вернувшись к реальности, Хемницер отправляется в Смирну в надежде, что генеральное консульство поможет ему в конце концов достичь хотя бы относительной свободы и возможности предаться изящной словесности. Но очень скоро он понял, что был прав, когда писал:

Не думаешь ли ты по службе счастлив быть,
Коль будешь ревностно и верно ты служить,
Когда прямою ты, служа, пойдешь дорогой
И будешь истины ты наблюдатель строгой?[45]

---

[43] Там же С 168 («Сатира на худое состояние службы »)

[44] Там же С 165, 174 («Сатира на худое состояние службы » и «Сатира на поклоны»)

[45] Там же С 169 («Сатира на худое состояние службы »)

Положенного ему жалованья оказалось мало не только на обеспечение самого скромного состояния, но даже на достойную для статуса российского консула жизнь. Он сам оплачивает «подарки, янычар и всю визитную историю» (62). Однако какое-то внутреннее целомудрие и врожденная порядочность не позволили Хемницеру в век, когда еще были очень сильны традиции кормлений, превратить новую свою должность в «доходное место». Одна мысль о «гнусных взятках» вызывала в нем отвращение:

Я лучше соглашусь несчастливо прожить,
Как жизнь счастливую бесчестием купить.[46]

Помимо уже упомянутой истории с коврами кадия, он был готов отказаться и от так называемых консульских денег, представляющих из себя три процента стоимости со всех ввозимых и вывозимых товаров. Как выяснилось, средства эти были очень приличными и заменяли представителям некоторых государств жалованье. Брали трехпроцентный налог все консулы, но только Хемницер не мог без специальной инструкции от Коллегии иностранных дел пойти на такое прибавление к довольно скудным деньгам, с перебоями поступавшими ему из Петербурга.

Небольшое жалованье и сомнительные перспективы повышения должны были лишить место консула всякой привлекательности в глазах Хемницера, который к тому же проявил равнодушие к чинам и не имел ни малейшей склонности к дипломатической службе, тем более на чужбине, во враждебной Порте. Но несмотря ни на что, он «сколько есть силы» старался «распоряжаться и действовать с энергией» (67). После его смерти Булгаков писал Екатерине II: «Находящийся в Смирне, Вашего Императорского Величества генеральный консул, коллежский советник Иван Хемницер по долговременной и почти беспрерывной болезни 19 минувшего марта умер <...> Канцлеру тамошнего поста дал я все нужные наставления, предписав по делам прилагать старание на том же основании, как оные производились при покойном консуле <...> Потеря сего человека, яко усердного Вашему Императорскому Величеству раба, заслуживает быть замечена и тем чувствительнее, особливо для меня, что во всю его в Смирне бытность я был спокоен: ни от правительства, ни от частных людей жалоб на поведение его не слыхал и должен отдать, хотя уже ему теперь бесполезную справедливость...».[47]

Хемницер отличался качеством, в той или иной степени присущим многим деятелям екатерининского царствования. Помимо жажды обладания чином, деревнями, орденами, расположением

---

[46] Там же. С. 233.

[47] Цит. по: *Бюлер Ф.* О месте погребения Хемницера. М., 1884. Отд. оттиск. С. 8.

императрицы и ее приближенных, то есть различными знаками социального престижа, помимо внутренней зависимости от догмата «преданности интересам государыни и престола», помимо экзальтированного восторга от причастности к победам могучей империи, в мотивационной сфере личности дворянина присутствовал еще один важный компонент. Десятилетиями культивируемый авторитет государственной службы порождал готовность самоотверженно выполнять обязательства не за награды и милость, а даже ценой их потери. «Ибо, — как писал Суворов, — за исход боя я отвечаю».[48] Чувство индивидуальной ответственности часто блокировало нелепые указы и непрописанные инструкции, подавляло интриги конкурирующих сановников и личные обиды обойденного по службе полководца.[49] Подобное, не зависящее от ситуации уважение к делу в конечном счете таило некую опасность для самовластия, но без чувства гражданской порядочности был бы невозможен блистательный прорыв России XVIII столетия. «Торжественно извещаю, что если бы в самом деле и важнее бывших и нынешних по службе дел что исполнил, то это истинно по одному честолюбию и по понятию, которое я о слове честь имею» (88), — писал Хемницер Львову.

Между тем он надеялся, что место генерального консула все же улучшит его обстоятельства, как свойственно вообще надеяться человеку, и предчувствовал беду, как могут ее предчувствовать только люди, наделенные интуицией поэта. Он напишет «на меня самого» полушутливые эпитафии, которым суждено будет остаться на бумаге, поскольку могила Хемницера затерялась где-то в бывшей Смирне на кладбище, вероятно, уже не существующем.[50] В «Надгробной моей» и «Надгробной на меня самого» он с усмешкой скажет об обреченности вечно служить и вечно бедствовать и обнаружит глубокое понимание тщетности всех предпринимаемых им усилий.

Жив честным образом, он весь свой век трудился,
Но умер так же наг, как был, когда родился.[51]

---

[48] Письмо А. В. Суворова И. М. Рибасу. Август, 1788 г. // Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 169.

[49] Не случайно А. В. Суворов восхищался мужественным благородством М. М. Голицына, одного из крупнейших полководцев времен Северной войны. Ради интересов Отечества он пренебрег личной обидой. На вопрос Петра I о награде за одержанную над шведами победу Голицын просил простить А. И. Репнина, разжалованного за поражение при Головчине. «Знаешь ли ты, что он твой злейший враг?» — спросил Петр. «Знаю, — был ответ, — и прошу ради пользы отечества, ибо Репнин военное дело знает, а хороших генералов мало». «Князь М. М. Голицын (генерал-майор), — победя, выпросил ему милость. Здесь достоинство!» — писал А. В. Суворов (*Суворов А. В.* Письма. С. 527—528, 229).

[50] См. об этом: *Бюлер Ф.* О месте погребения Хемницера.

[51] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 231.

И во время дороги в Смирну, и все полтора года пребывания в Порте его мучают «припадки ипохондрии», переходящие в «тягостную мрачность». Еще в Херсоне почувствовал он необъяснимую тревогу, лишившую его душевного равновесия и только ему присущей просветленности, которая исходила от него в минуты внутреннего покоя. «Только знаешь ли ты, что я уже сам примечаю, что я на себя не похожу. *Я подвергаю пытке свою голову, заставляю ее размышлять, соображать, обдумывать, сколько есть у меня сил.*[52] Странное дело, сколько обстоятельства умом и духом нашим поворачивать могут! Нет, уж не написал бы ты теперь такова письма, в котором бы ты меня небесным Иваном назвал» (47). Хемницера волнуют не новые для него служебные обязанности и не условия жизни в далекой Турции, а собственное эмоциональное состояние, которое он никак не может предугадать и с которым боится не справиться: «...живу все еще между надежды и отчаяния, не зная что со мною будет. Не должность, не дела меня тревожат, но прочие обстоятельства, как будет жить. Поверь, что голова немало кружится. Разве судьба невидимо какими-нибудь чудесами исправит, или, лучше сказать, мою думу и старания, где только употребить последнее можно будет, обратит в пользу» (51).

Ожидая яхты в Смирну, он бродил по берегу моря и напряженно всматривался в даль, как будто там пытался разглядеть свое будущее. «Теперь сижу я у моря и жду погоды; однако все это не без скуки <...> я, как говорится, сколько спекуляции ни делаю, однако не вижу еще, что будет» (56, 47). Как всякий человек с неотступной мыслью, он воспринимает действительность через призму своей тревоги и во всем видит знаки, подтверждающие его нарастающие опасения. Остро и болезненно реагируя на любые сведения о жизни дипломатов в Порте, он специально ищет «людей, которые прямо о Смирне знают». При этом он остается глух к положительным отзывам и невольно накапливает в себе только негативную информацию: «Все говорят, что место прекрасное, только все говорят также, что моего звания люди живут совершенно на ноге цареградских министров, если не пышнее. Признаюсь тебе, что это мне мало покою дает» (47). Он непрерывно думает о «проклятой язве», эпидемии которой «никак не утихали» в Порте, вносит в записную книжку сведения о константинопольской и левантской чуме, с плохо скрываемым за шуткой беспокойством сообщает Львову анекдот о местных эскулапах. «Ко мне все здешние эскулапы приходили <...> Один из них всеми силами навязал на меня еликсир бальсамической от всех на свете болезней, и говорит, что он отвечает если кто, употребляя этот эликсир, умрет: однако я точность его поручительства испытать не намерен» (67—68). Разумеется, Хемницера настораживало и то, что секретарь

[52] Выделенный текст в подлиннике на французском языке.

посольства И. И. Северин «наскучил до крайности Царемградом» (61), а венецианскому посланнику один год пребывания в Порте «заменяется за три»: «Вот каково Венециане о житье турецком думают!» (403).

Измученный предчувствиями, он уже торопит развязку и хочет поскорее попасть в неизвестное, пугающее и неотвратимое место, называемое Смирна. «Видать ли, чтоб уж до Смирны доехать: по крайней мере на деле увижу, что со мною будет и чего быть не может. Право дума проклятая меня мучит. Да и только» (56). Нагнетаемые опасения и страхи Хемницера подтвердились и сразу после приезда на место службы переросли в подавленное состояние. Не успев поселиться в Смирне, он уже почувствовал усталость, и несколько недель, проведенных в Порте, показались ему вечностью. В декабре 1782 г. Хемницер писал Львову: «То подлинно, что мне в каждом из ваших писем кажется надобно превеликие перемены услышать, потому что мне кажется, что я с вами несколько уже лет расстался. И если подумаю, что только с 6 июня, так сам не знаю, как промаячить то время, которое еще здесь остаться должно будет» (69). Тоска разъедала его изнутри, и порой он терял не только ощущение времени, но и собственной личности. «Скажешь не раз: где я? и что я? скажите мне кто-нибудь! Никто не отвечает. А если какой-нибудь голос где и отдается, так этот голос такой, от которого больше с дороги сбиться, нежели по настоящей путь свой продолжать можно». Он пытался заглушить боль и рациональными доводами, и усилием воли, но все более убеждался, что сделать это очень сложно. «Снести боль, когда она есть, не охнув ни разу, кажется и ты не потребуешь» (78—79), — писал он Львову. Сильное внутреннее напряжение мешало выплеснуть накопившуюся черноту в стихи. «Басни тебе прислать? <…> Кто в Туречшине басни пишет! <…> ни одной еще выправить не удавалось, да и духу не было» (89). Хемницер искал причину столь тяжелого для него психологического сбоя. Он винил сырую зиму в Порте, чужую страну, «новую и никогда известной не бывшую перспективу должности и дел» (78), а перед глазами вставали строчки из письма Капниста: «Не забыть мне сказанное в письме Вас. Вас., писанном ко мне в Петерб., когда узнал он, что я в Смирну еду: „Да подумал ли ты хорошенько, что ты сделал? Да ты таки без друзей там с ума сойдешь“. Типун бы ему на перо!» (91). Он с трудом переносил своеобразный эмоциональный вакуум, создавшийся вокруг него в Порте. «Надобно вообразить: что один-одинехонек, не с кем слова молвить, а слов-то очень-очень много; все, что думаешь, скрыть в себе самом. Один дома, один вне дома, один везде» (67).

В только что открытом консульстве в Смирне он действительно был оторван даже от российской миссии, которая находилась в Константинополе. Круг его знакомых ограничивался в основном консулами других государств и канцелярией кадия. С этими людьми

он не мог «податься на знакомство», поскольку «не предвидел поводов к заключению дружбы»: «Нет способу, не могу пристать, не могу привыкнуть; к кому бы ты думал? К людишкам здешним» (91). В «Смирнских записках» Хемницера есть небольшая история про француза, который за тысячи верст от Парижа с тупым равнодушием взирал на неизвестный план родного города, специально показанный ему: «Я, если б не из любопытства, то по крайней мере по привязанности к своему отечеству, я бы затрепетал от радости; я чуть не сошел бы с ума <...>. Но мое размышление, следствие моей чувствительности и сочувствия ко всему, плохо было вознаграждено» (404).

Безусловно, депрессивное состояние Хемницера, усугубляемое частым недомоганием, было связано с особенностями его эмоционального склада. Близко знавшие Хемницера люди воспринимали его несколько упрощенно и нередко видели лишь ту или иную сторону сложной натуры этого человека. В воспоминаниях отца он остался тихим, меланхоличным, но в то же время очень любознательным, смешливым ребенком и «чувствительным благородным» юношей. Во время встречи в Кенигсберге, где стоял Нотебургский полк Хемницера, отец пытался узнать у сына об обижавшем тринадцатилетнего мальчика офицере, «обманщике и злодее». «Я должен, — писал отец, — искренне похвалить его скромность в отношении к его гонителю, о поступках которого я имел верные сведения. Когда я заводил о том речь, он только отвечал: „И, батюшка, слава Богу, что я опять с вами!“ (43—45). Друзья видели в Хемницере «добродушие, нерасторопность и всегдашнюю рассеянность мыслей, противоречащую его наблюдательному уму, причины и действия испытующему» (37—38). Державин писал в рекомендации, данной другу, отправляющемуся в Смирну: «Хотя своими добродетелями и любезным поведением он несомненно приобретет благоволение и приязнь вашу, но на первый однако случай, предваряя о его свойствах, скажу вам: Се истинный Израиль, в нем же лести нет» (17).[53] А в письмах М. Н. Муравьева Хемницер — очень милый, живой, веселый человек, который всякий раз в маскараде, в костюме таком, что его не узнать, танцует до утра и уходит в числе последних.[54]

В Хемницере действительно странным образом соединились пылкость, пронзительный взгляд сатирика, мгновенно изобличающий человеческую слабость, и мудрое умение простить ее, которое

---

[53] В данном случае Державин перефразировал слова Иисуса к Нафанаилу: «Се воистину израильтянин, в нем же льсти несть» (Иоанн. 1: 47). Может быть, в этом замечании есть намек и на то, что Хемницер имел еврейскую кровь. Во всяком случае, фамилия Chemnitzer дает право сделать такое предположение.

[54] *Муравьев М. Н.* Письма / Публ. Л. И. Кулаковой и В. А. Западова // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 349.

часто принимали за простодушие. Рассеянный чудак никогда бы не написал таких строк:

Воззря на тьму неистовств сих,
На страшны действия людские,
На гнусность дел и мыслей их,
На их сердца и души злые,
Я человечества страшусь;
Сам человек, себя боюсь,
И тени страшны мне людские.[55]

Он постоянно наблюдал за человеческими нравами, стараясь не упустить ни одного неожиданного поворота, ни одного интересного сюжета, которые подбрасывала ему жизнь. Он видел в людях больше, чем они могли предположить.

...часто мне приметить удавалось,
Хотя со мной самим того и не случалось...[56]

Он думал о том, как уловить в повседневности жанровую сцену и тему будущей басни. В Париже он знакомится с французским живописцем Грезом и посещает его мастерскую, где внимательно рассматривает полотна, изображающие порой пугающую реальность человеческих отношений и человеческой натуры. В Люксембургской галерее долго стоит перед картиной Рубенса, восхищаясь точной передачей тончайших оттенков чувств и страстей: «Распятие, писанное Рубенсом во весь рост: Богоматерь в сокрушенном отчаянии по правую сторону, а Мария Магдалина по другую. Лица их изображены совершенными в сем страдании и такими, какими видится лицо, совершенно расплаканное, и коего черты совсем тогда изменены бывают» (381).

Басни Хемницера лишь внешне кажутся незамысловатыми. «Подражание природе», простота в творчестве и жизни были его осознанной позицией.

Кто все увертками и хитростью живет,
Скорее пропадет,
Как тот, кто все прямой дорогою идет.
(292)

Он очень ценил естественность в человеческих отношениях и спонтанность в проявлениях чувств. «Об одном тебя прошу, — писал он Львову, — Бога ради не теряй, если когда и в вышнем степени министра будешь, ту приветливость и развязанность души, которую ты имеешь. Тебе сказывать нечего, сколь полезно это для себя и для людей приятно. Куды как скверно быть букою! Однако это не

[55] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 183.
[56] Там же. С. 168.

до турок касается». Не случайно в Константинополе наибольшее впечатление произвели на него «двое турок», которые, «рассуждая о чем-то, от искреннего сердца рассмеялись; и вот первой смех или первая наружная веселость души, которую я, ходя целый день и видев не одну тысячу людей, по лицу и по подобию так называемых, встретить случай имел» (56—57).

Очевидно, что столь тонко чувствующий человек с искрящимся юмором и трепетным воображением, глубоко понимающий жизнь и, как все сатирики, сосредоточенно всматривающийся в самые печальные ее стороны, был склонен к эмоциональным перегрузкам и депрессивным состояниям. Острая потребность в общении с близкими по складу людьми оказалась, пожалуй, наиболее уязвимым местом в душевной организации Хемницера.

В вынужденной своей изоляции на «Туречшине» у него обостряется чувство родины и развивается тяжелый недуг, который принято называть ностальгией. Отъезжая из Херсона, он с болью думает о том, что покидает «берег отечества и всех тех, которые жизнь приятною делали». «Должен буду воображать, как будто не на одном уже мире со мною» (49). Несколько позже, в Порте, он обнаружит, что «многие в нашем отечестве живучи не чувствуют своего блаженства столько, сколько чувствовать должны» (69), и придет к неутешительному выводу — «кроме отечества и самого Петербурга для меня нет спасения» (91). Знаком утраченной родины станут для него «христианская, то есть нравственная земля, друзья и родные». Иными словами, Хемницер больше всего будет тосковать по особой атмосфере глубокого понимания, взаимного интеллектуального обогащения и приятельской раскованности, которая присутствовала в дружеских кружках, возникающих в среде интеллектуального образованного дворянства России второй половины XVIII в. В этих обстоятельствах письма Львова станут для него «единственной радостью», самым светлым событием в унылом ожидании конца только что начавшейся службы. Именно своеобразный эпистолярный разговор с другом долгие месяцы поддерживал Хемницера и давал ему ощущение собственной личности. «Тут спрошу я: где я? и что я? а письмо твое мне и даст ответ. Слава Богу, теперь хоть с письмами посоветовать да побеседовать можно» (78—79).

## «Только у меня и праздника что письма от тебя»

В исследовательской литературе встречаются самые полярные оценки взаимоотношений двух друзей. Мнения разнятся от признания Львова «добрым гением» Хемницера, по выражению Я. К. Грота, до уличения его в интригах, необоснованной ревности, преднамеренном искажении образа баснописца в воспоминаниях. В некоторых работах Львов даже обвиняется в гибели друга, которому

он сознательно подыскал должность консула в далекой Смирне.[57] Из одной биографии Хемницера в другую переходят никак документально не подтвержденные сведения о том, что он был влюблен в Марию Алексеевну Дьякову, сватался к ней, не зная о ее тайном венчании с Львовым,[58] и получил, разумеется, отказ.

Возможно, Хемницер и пережил увлечение Марией Алексеевной, восхищавшей многих современников своей красотой. Она была радушной хозяйкой их кружка-салона, мыслящей образованной женщиной, наделенной поэтическим даром. Ей посвятил он первое издание своих басен, которые, как сказано в обращении, умоляли автора не оставлять их один на один с публикой, не прощающей иронии и сатиры:

Отдай *Дьяковой* нас в покров и защищенье.
Тогда хоть мы от злых услышим поношенье,
    Что станем правду говорить,
Но в *ней* не гнев найдем, увидим снисхожденье:
    *Ее* одно в том утешенье,
    Один закон, одно ученье,
    Чтоб правду слышать и любить.
*Она* нас иногда от клеветы избавит,
А именем своим тебя и нас прославит,
И наших недругов заставит, может быть,
    Еще нас и любить.[59]

На посвящение анонимного издания последовал поэтический ответ, написанный, вероятно, не без участия Львова, в архиве которого был найден автограф следующих строк:

По языку и мыслям я узнала,
Кто басни новые и сказки сочинял:
Их Истина располагала,
Природа рассказала,
Хемницер написал.[60]

---

[57] См., например: *Десницкий А. В.* Крылов и Хемницер // Ученые записки Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Каф. русской литературы. Л., 1958. Т. 168. Ч. 1. С. 34—37 и др.

[58] Об обстоятельствах женитьбы Львова см.: *Лаппо-Данилевский К. Ю.* О тайной женитьбе Н. А. Львова // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 132—144.

[59] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 54. По поводу этого посвящения Н. Д. Кочеткова сделала ряд интересных замечаний: «Спустя двенадцать лет, когда Хемницера уже не было в живых, в печати появилась поэма Н. А. Львова „Русский 1791 год“ (1791). Издание открывалось стихотворным посвящением <...> той же Марии Алексеевне <...>. Две книги, разделенные значительным промежутком времени, оказались связаны между собой посвящениями» (*Кочеткова Н. Д.* Литературные посвящения в русских изданиях XVIII—начала XIX века // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22. С. 83).

[60] См.: *Коплан Б. И.* К истории жизни и творчества Н. А. Львова // Известия АН СССР. 1927. № 7—8. С. 722.

Перед отъездом в Турцию, встретив Дьякову на Васильевском мосту, Хемницер взял с нее обязательство «награждать своими письмами», особенно когда «за недосугами» будет молчать Львов (67). Уже в Смирне получил он от Марии Алексеевны в подарок «петлицу на шляпу», которая сразу же стала «обновкою на свадьбе шведского поверенного в делах при Порте <...> Вот, сударыня, какой этой петлицы debut будет» (80). Он всегда был рад любым вестям от Дьяковой: «Покорно благодарю вас, сударыня, что вы обо мне помнить изволите: я же виноват перед вами, думая иногда в ипохондрических моих припадках, что вы меня забыли» (74). Однако Хемницер не имел с Марией Алексеевной собственно личной переписки. В своих посланиях Львову он кланялся его «подруге» и лишь иногда обращался непосредственно к ней в самых изысканных, галантных, учтиво-игривых выражениях и, как правило, по-французски. Порой Хемницер писал сразу обоим своим друзьям, воспроизводя атмосферу дружеской беседы: «Твоя подруга, говоришь ты, подле тебя, тихонько прерывает тебя в дружеских размышлениях, которые ты мне посвящаешь, искренно уверяет меня в своей привязанности ко мне и посылает мне петлицу. Право, с вашей стороны очень любезно, что вы, милостивый государь, и вы, милостивая государыня, будучи наедине друг с другом, вспоминаете о третьем лице, вашем приятеле <...> Как бы я желал описать вам чувства, которые теснились во мне при чтении этих строк в вашем письме! о Дружба! — Прощайте!» По всей видимости, Львовы нередко вместе читали письма от Хемницера и вместе составляли ему ответы. «Так, милостивая государыня Марья Алексеевна; *он*, этот он, много ко мне написал, между тем как вы, припавши к нему на ушко и на плечо, возле него сидели и дожидались: когда он писать кончит, чтобы вам начать» (79).

За все время переписки друзья не позволили себе ни одной оскорбительной двусмысленности. Хемницер знал о тайном венчании Львова и поздравлял супругов, когда отец Дьяковой согласился признать брак. «Вам, милостивая государыня Марья Алексеевна, **уже без страха** ЛЬВОВА, скажу, что я вашим письмом теперешним, где вы уже без страха подписались **Львовой**, как быть как водится доволен был» (92). Позволю себе предположить, что Мария Алексеевна была не роковой и не единственной привязанностью пылкого баснописца, который умел ценить женское обаяние и под утро уходил с бала. Только во время путешествия в Европу имел он несколько любовных приключений. К супружеским узам относился он с некоторым опасением, осуждал брак ради денег, а злой жены боялся не меньше «дел подьяческих и спорных» (291).

Проверенные годами отношения двух друзей также противоречат предположениям о мнительной ревности одного из них. Львов всегда пытался помогать Хемницеру, и, кажется, нет причин подозревать его в неискренности. Используя связи с М. Ф. Соймоновым,

П. В. Бакуниным и А. А. Безбородко, а также умение ориентироваться в чиновной сфере, Львов стремился обеспечить карьеру и Хемницеру, и В. В. Капнисту, которого он устроил служить по почтовому отделению. Оба друга могли полагать, что престижная должность генерального консула радикально улучшит материальное положение Хемницера, который нуждался значительно больше, чем полтавский помещик Капнист. В торжественные дни воздвижения «Медного всадника» Фальконе уже из Смирны Хемницер с недоумением спрашивал Львова: «Скажи мне, пожалуйста, кому я одолжен присылкою мне по высочайшему повелению медали серебряной при письме от вице-канцлера на случай открытия монумента» (74).

Весь период пребывания Хемницера в Порте Львов был главным его адресатом. Еще не отработанная деятельность только что открывшегося консульства осуществлялась в значительной степени через личные письма Львова, которые заменяли иногда и газеты. Имея постоянный контакт с Безбородко и Бакуниным, он сообщал другу мнения начальствующих вельмож, вел финансовые дела и всю корреспонденцию Хемницера, который через друга передавал весточки родственникам и друзьям: «Приложенные незапечатанные письма, если хочешь, прочти; а потом отправь их, пожалуйста» (80). Львов был и тем человеком, которому тактичный от природы Хемницер позволял себе рассказать о невзгодах. «К домашним моим писать мне на сей почте некогда. Если кого увидишь из них, то скажи им, что я здоров, хотя, между нами сказать, грудь у меня и очень побаливает <...> Не проговорись, пожалуйста, моим старикам о здешних проказах; а то они перетревожатся. Я им ни слова» (83, 87).

Львов не только помогал Хемницеру правильно выдержать тональность официальных донесений, но и пристально следил за душевным состоянием друга, зная его подвижную и ранимую эмоциональную натуру. Некоторые фрагменты писем Хемницера создают представление о посланиях Львова, которые, к сожалению, пропали в Смирне вместе с другими бумагами умершего консула. Львов просил друга писать «обо всем», «не плакать», «не тужить», «не унывать», «не уставать». «Совет твой философической или умной, сравнивая силы наши с ниткою упругою, которую слишком тянуть нельзя, чтобы не прорвалась, так на тебя похож! Сколько прочих твоих дружеских советов и умных размышлений я при этом вспомнил!» (77). Перемежающиеся длительным молчанием последние письма Хемницера не на шутку встревожили Львова. «Теперь не говори, мой друг Николай Александрович, что я безответен и о себе как о безделье писать к тебе не намерен <...> теперь внемли раба своего Ивана; коли ж так по счастью моему случилось, что ты обо мне тревожишься: в сутерп ли мне здесь и проч., то скажу тебе, что очень и очень не в сутерп» (91), — писал за месяц до смерти Хем-

ницер. Львов и Капнист предпримут первое посмертное издание стихов друга. Они высоко ценили его талант и были инициаторами нескольких прижизненных публикаций произведений баснописца. Именно «стараниями» Львова Хемницер был избран в члены Российской Академии, а его книга попала в королевскую библиотеку Франции. Переиздание басен потребовало от друзей серьезной работы и немалых усилий. Разобрав частично уцелевший архив Хемницера, они включили в новую книгу неизвестные произведения, в соответствии с рукописями автора исправили некоторые уже публиковавшиеся басни, а отдельные стихи, по сложившейся в кружке Львова традиции, отредактировали сами. Издание предполагалось сопроводить обстоятельной биографией баснописца, для составления которой друзья обратились к старику Хемницеру с просьбой написать воспоминания о сыне. Работа шла неравномерно, с большими перерывами и растянулась более чем на десять лет. Львов был уже болен и обременен заботами о Безбородко, когда-то могущественном канцлере, а теперь умирающем старом вельможе. Взявшийся за дело Капнист так и не успел написать о друге, в результате чего остались не использованными специально составленные Львовым «Заметки для биографии Хемницера» и воспоминания отца. «Басни и сказки» 1799 г. вышли лишь с небольшим очерком «Жизнь сочинителя», который современные исследователи приписывают Капнисту.[61]

Бегло перечислив в очерке «скромные происшествия» из жизни Хемницера и набор его добродетелей, автор подробно описывает несколько анекдотов и казусов, случившихся с баснописцем. Во время представления в парижском театре, когда знаменитый Лекен показался на сцене, «то пораженный величественною осанкою его, он поклонился в забывчивости, что весь театр обратил на себя». После уже упоминаемой истории о самоотверженном стремлении Хемницера увидеть своего кумира, Руссо, Львов вместе с другом случайно встречают классика. «Уверил я его, что это не Жан-Жак, а учитель графа Строганова, и по возвращении уж только в Спа признался ему, что это была шутка». «Когда он купил кошелек, и я на нем написал 1748-го года, и он поверил, что он стар». Однажды на обеде он машинально положил в карман вместо платка салфетку и, обнаружив конфуз, «в смятении оборотясь» к Львову, «с сердцем говорил»: «Ты меня вечно в дурачества вводишь <...> тебя, братец, не надобно никогда слушать». Но потом «сердце его прошло», и он «зачал смеяться и был уже весел» (38).

Эти забавные, несколько нелепые истории могут показаться странным материалом для предисловия к собранию сочинений. В них не столько идет речь о личности автора, сколько воспроиз-

---

[61] См *Степанов Н Л* Иван Хемницер // Хемницер И И. Полное собрание стихотворений С 6

водятся эпизоды отношений, наполненных шутками и розыгрышами. Такая избирательность воспоминаний автора объясняется вовсе не стремлением тайного недоброжелателя выставить умершего друга в пародийном свете. Причину повышенной восприимчивости к юмору, скорее, следует искать в особой атмосфере дружеских кружков, которые спонтанно возникали в среде образованного, независимо и остро мыслящего дворянства.

Письма Хемницера, тоскующего по привычному кругу людей и общению, далеки от бесконечных жалоб подавленного человека. Даже печальные или проникнутые тревогой строки его посланий заканчиваются нередко снимающей напряжение шуткой. «Не успел я приехать сюда, как тотчас вышла история смертоубийства <...> с нашего одного судна вздумалось четверым напасть на турку и зарезать его <...>. Может быть, сим героям хотелось ознаменить приезд сюда российского консула, однако я таковых праздников не желаю» (64). Стремительные, перебивающие друг друга фразы писем не просто имитировали живую разговорную речь, но и передавали интонации, динамику, наполненные скрытым смыслом паузы, всегда возникающие в беседе двух близких людей. Очевидно, Львов не столько читал, сколько слушал вести от друга, улавливая тембр его голоса и скрывающееся за ним настроение. «Голос мой если переменился, в продолжении писанного тогда письма <...> в меньше унывный, этому быть не мудрено было. Ты, помнишь, и сам примечание это сделал, что я, как бы пасмурен к тебе когда ни приходил, всегда уходил веселее: то же самое видно со мною происходит, когда теперь через письма с тобою говорю» (76).

Разумеется, установленные письмовниками каноны эпистолярного жанра не вызывали у друзей ничего кроме иронии и игры с чопорным скучным трафаретом. «Наперед все-таки у тебя спрошу, здоров ли ты, даром что ты и это за церемониал считаешь» (46). Однако, снисходительно посмеявшись над формуляром, Хемницер обнаружил, что его тяготит собственно общение через почту, когда «ловчее рассказать, нежели написать» (88). Живое слово застывало вместе с высыхающими под пером чернилами, и он вносит эффект присутствия в запыхавшийся ритм своих строк. «Здравствуйте, сударыня Марья Алексеевна, с новопожалованным! Это я вам не пишу, а как сумасшедшей, вбежав к вам в комнату, прокричал. Здравствуйте же, сударыня — ох! досадно, что всего сказать нельзя! быть сглонуть, пока сам вас увижу» (84).

Часто начальные строки письма являлись продолжением непрерывающегося разговора и подхватывали последнюю реплику из послания адресата: «Ну, а в прочем каково?» «Слава Богу, все хорошо»! «Ну так и я скажу: хорошо. И в самом деле лучше нежели было» (81). Внутренний диалог, присутствующий с той или иной степенью отчетливости в любом эпистолярном документе, вводится прямо в текст писем Хемницера. Он или переносит на бумагу

фразы из писем Львова, или сам отвечает за друга, несколько утрируя манеру его речи. «Послушай, Николай Александрович. „Пошел, ну!“ Да нет, слушай! ...нельзя не поздравить тебя, что Александр Андреевичу Владимира первого класса дали. Ты говоришь, чтоб я, получа эту ведомость, не плакал; я думаю, что и ты не печалился» (73). Иногда в разговор вступает их общий приятель Капнист, как правило, с характерным для него словечком «в прочем коли ж», которое Хемницер целенаправленно употребляет и подчеркивает в письмах. Тогда эпистолярная беседа двух друзей превращается чуть ли не в шумную вечеринку литературного кружка. «*В прочем коли ж* ты устал об турецшине слушать, так мы и о другом заговорим <...> *В прочем коли ж* что нужно, так нужны твои и вообще *наших* письма» (68, 83).

Послания Хемницера ценны не только тем, что в них отразилась эволюция жанра письма, закономерно идущая от застывших стандартных форм к эмоционально напряженной переписке, разрушающей любые клише. Уникальность эпистолярного наследия баснописца заключается в том, что его письма доносят стилистику общения и сложную ткань устной речи, звучавшей в среде дворянской элиты второй половины XVIII в. Острословие и афористичность фразы были не просто индивидуальными качествами балагуров, счастливо наделенных чувством юмора. Изысканная легкость разговора становилась концепцией поведения, затрагивающей даже унылую чиновную бюрократию. Искушенный Львов знал, какой эффект на образованного сановника может произвести удачная шутка, мастерством которой он владел в совершенстве.

«Ты говоришь, для чего я иногда в письмах моих к сим господам к стати пристойно не подшучу? Друг мой, ты знаешь, что я только *я* с друзьями моими быть могу; а где не друзья мои, там уж от меня толку не жди: где каждое слово на вески класть надобно, тут сам ты знаешь шутить не ловко: да ничего и на ум не припадет» (77). Однако Хемницер, первоначально намеревавшийся посвятить свое первое издание П. В. Бакунину, писал в так и не дошедшем до вельможи «К басням моим приношении впредь»: «Давно мне хочется вам угодить, милостивый государь. Вы меня принимали всегда так милостиво; все, кои тем же самым приемом пользуются, по крайней мере угождают вам остротою своих разговоров <...> я никак не способен беседу вашу увеселить. Но, чтобы хоть сколько-нибудь вам угодить и милость вашу заслужить, так я нашлю на вас басен моих».[62]

Не слишком ловкий на слово с придворными, Хемницер абсолютно не страдал косноязычием в приятельской беседе и в письмах к друзьям. Он не упускал ни каламбуров, ни игры на смысловых и стилистических контрастах, ни маркировки слов. «Сказал бы я те-

---

[62] *Хемницер И. И.* Полное собрание стихотворений. С. 282—283.

бе „здравствуй“, „с новым годом“; да ты не любишь поздравлений; и так нет тебе ничего. А здравствуйте вы, сударыня Марья Алексеевна! Здравствовать право нужно: этот рецепт между прочим хорош и для тех, кто на желчь жалуется: перескажите пожалуйте, сударыня, это Николаю Александровичу — или быть уж так, добро, поговорить самому с ним <…> Желчь твоя или горечь, хоть бы камень ей на шею <…> Однако я бы тебе советовал пожаловать лекарств больше не принимать, чтоб не сделать из себя аптеки» (66, 73, 67). Естественно, друзья не смогли пройти мимо названия города Смирна. «Не очень у нас смирно, говорят у вас? и у нас тоже говорят» (85), — сообщал Хемницер Львову. «Радуюсь, что наш друг уже в Смирне; желаю искренно, чтоб там все смирно было и с стороны Едикуля, и с стороны чумы» (85), — писал ему же Капнист.

Тонкая шутка, понятная иногда только в узком кругу избранных, порождала чувство принадлежности к особой корпорации и возвышала над непосвященными, вездесущим государственным началом и даже обстоятельствами. Сопутствующая юмору ересь свободного духа провоцировала друзей на конфликтное пересечение торжественного стиля и разговорной стихии приятелей-литераторов, что снижало патетику величественного официоза. Уже упоминаемая триумфальная сцена встречи российского консула, действительно, вызвала у Хемницера горделивое чувство причастности к имперскому могуществу, но ироничный голос интеллектуала-фрондера, посмеивающегося и над важностью русской миссии, и над всей придворной дипломатией, тут же шепнул: «по улицам смотреть зеленого осла кипит народу без числа»: «Съехав в первой раз с яхты на берег, вся набережная покрыта была народом, собравшимся смотреть меня. Согрешил я тут, что вспомнил о собственных стихах» (62). Львов подхватывает озорное сравнение и шлет «зеленому ослу» поклоны, Хемницер не остается в долгу и уже спустя несколько месяцев после прибытия в Смирну благодарит друга «за припев зеленому ослу счастья. Кабы да вашими устами мед пить!» (76). Издевательства друзей над подьячими распространялись на всю имперскую канцелярию и жалкий неповоротливый язык чиновников. Выбивая обещанные деньги для российского консула, Львов вместо вразумительного ответа получил бессмысленный набор заскорузлых бюрократических штампов. «<…> тебе превеликое ИБО сказали, спасибо тебе. Конечно, так, без *ибо* доказательства по канцел. делам привесть ни на что нельзя <…> Это „*ибо говорят они*“, как ты пишешь, меня на весь день рассмешило. Тут много и посторонних воображений столкнулось: представлял я себе и того, кто это *ибо* сказал для того только, чтоб соблюдению формы по его мнению больше силы придать» (78).

Осознание элитарной замкнутости сквозило и в постоянном цитировании строк из собственных творений и произведений «всех наших», и в нарочито грубоватом тоне, который могут позволить

себе не просто близкие люди, а вольно обращающиеся с языком стилисты. «Видишь, что я теперь весел; а все от того, что ты меня рожей назвал <...>. Что доношением моим довольны были, слава Богу: дай Бог и впредь угодить! Да только на тебя урода все не угода <...>. Помилуй, государь, раба своего! Тфу пропасть!» (76, 89). За полстолетия до саркастических монологов Чацкого они потешались над смешением французского с нижегородским, называли Львова, имеющего усадьбу под Торжком, «Mon cher Новоторжец». Для просвещенных современников Чацкого этот юмор покажется, конечно, простодушным и безыскусным острословием старика прошлого века, шутившего «отменно тонко и умно, но нынче несколько смешно». Однако высокая культура светского разговора «без пошлых тем, без вечных истин, без педантства» оттачивалась именно в table-talk «за полночь» и в письмах участников кружков, подобных кружку Львова—Державина—Капниста—Хемницера.[63] Эти никак не санкционированные властью объединения литераторов, наряду с возникающими салонами и масонскими ложами, были теми нервными точками, через которые проходили невидимые, но мощные силовые линии самоопределяющейся культуры дворянства. Зреющее за раскованной, искрящейся юмором беседой внутреннее интеллектуальное напряжение вспыхнет в XIX в. онегинской строфой, каламбурами под горячий пунш и катастрофой на Сенатской площади.

Заложенная Петром крепнущая и расширяющаяся Российская империя к правлению Екатерины II имела уже свою четкую идеологическую доктрину, эффективно воздействующую на сознание подданных. Непререкаемая ценность «государственной пользы» подчинила и растворила в себе конфессиональные различия, национальную самоидентификацию и даже сословные притязания.

Выросший в России сын лекаря из Фрайбурга не только овладел русским языком, как родным немецким. Он воспринял пафос имперского патриотизма, конфессиональную терпимость и мечты просвещенного помещика-интеллектуала в отставке. Хемницер никогда не был землевладельцем и практически не имел крепостных, за исключением разве подаренного ему Капнистом мальчика-слуги, который сопровождал его до Смирны и о судьбе которого генеральный консул ни разу не упомянул в письмах. Между тем он прекрасно усвоил складывавшуюся веками систему мышления крепостника — исчислял богатство душами, «пребывающий в рабстве на-

---

[63] См. новейшие работы об этом кружке: *Роте Х.* «Избрал он совсем особый путь». (Державин с 1774 по 1795 г.) // XVIII век. СПб., 1999. Сб. 21. С. 248; Гений вкуса: Н. А. Львов: Материалы и исследования. Сб. 1—3. Тверь, 2001—2003; *Николаев С. И.* Оригинальность, подражание и плагиат в представлениях русских писателей XVIII века // XVIII век. СПб., 2004. Сб. 23. С. 18, и др.

род» сравнивал с «диким зверем на цепи» (293) и идеализировал пастораль усадебной жизни.

Амбивалентная культура русского дворянства позволила адаптироваться и немцу, и лютеранину, и безземельному баснописцу. Углубляющийся во времена екатерининского правления внутренний разлом обнаружится лишь в первой половине XIX в. и станет драмой идейной поляризации высшего сословия. Пока же скрытая конфликтность его исторического развития проступала в обстоятельствах жизни отдельных людей. Судьба Хемницера оказалась одной из тех судеб, которые попали в водоворот невидимых, но мощных подводных течений духовной эволюции сословия, достигшего апогея своего стремительно завершающегося «золотого века».

Культура российского дворянства возникла по приказу царской власти, была сосредоточена при дворе и призвана воспевать успехи победоносной империи. Однако военные триумфы оказались для монархии делом более легким, чем сохранение роли интеллектуального лидера. Престолу становилось все труднее удерживать под контролем усложняющуюся интеллектуальную жизнь дворянства. Просвещенная элита постепенно освобождалась от давления официозной доктрины. Происходила девальвация общепризнанных ценностей, пересматривалось содержание социального престижа, сводимого к чинам и высочайшей милости. Эмансипация культуры, не замыкающейся на отрицании, выразилась и в поиске иных сфер реализации личности, относительно независимых от имперского аппарата и светской массы. Наиболее образованная часть дворянства отшатнулась от верховной власти и попыталась осуществить себя на социальной периферии, удаленной от эпицентра действия государственных ценностей.

Дворянин, который «потерял силу и охоту достигать лавры», «истинное счастье сыскивал в уединении, в воспитании детей, в созерцании прекраснейшей девственной природы», «в самом приватном обществе», в поэтических упражнениях, поиске «истинного масонства» и заведении школ для бедных, и т. д. Хемницер, с его нежеланием и неумением «развозить поклоны» и любовью к изящной словесности, также искал свою нишу. Однако в силу известных обстоятельств он потерял и то, что имел, лишившись дружеского общения, которое давало ему импульс и для жизни, и для творчества. Он самоотверженно работал на будущее, переступал что-то в себе, терпел, надеялся, но, не рассчитав своих эмоциональных и физических ресурсов, сгинул в далекой Смирне, оставив в письмах легкую горчинку скрываемого страдания.